

Ибатуллина Гузель Мртазовна, Старицына Юлия Александровна  
**ФЕЛИЦИТАРНЫЙ МИФ В РОМАНЕ И. А. ГОНЧАРОВА "ОБЛОМОВ"**

В статье рассматривается фелицитарная парадигма в романе И. А. Гончарова "Обломов". Авторы выделяют ряд ключевых инвариантных оппозиций и тождеств, приобретающих в контексте произведения мифологизированный характер: счастье - покой; счастье - сон; счастье - миф; счастье-иллюзия и счастье-реальность; счастье соборное и счастье индивидуальное; счастье "бытовое" (жизненное благополучие) и счастье "бытийное" (полнота жизни) и др. Исследование обнаруживает, что рефлексивно-диалогические взаимоотношения этих инвариантов, функционирующих в качестве мифологем, определяют пути интерпретации темы счастья в художественно-философских контекстах романа.

Адрес статьи: [www.gramota.net/materials/2/2017/5-2/3.html](http://www.gramota.net/materials/2/2017/5-2/3.html)

Источник

**Филологические науки. Вопросы теории и практики**

Тамбов: Грамота, 2017. № 5(71): в 3-х ч. Ч. 2. С. 16-19. ISSN 1997-2911.

Адрес журнала: [www.gramota.net/editions/2.html](http://www.gramota.net/editions/2.html)

Содержание данного номера журнала: [www.gramota.net/materials/2/2017/5-2/](http://www.gramota.net/materials/2/2017/5-2/)

**© Издательство "Грамота"**

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: [www.gramota.net](http://www.gramota.net)  
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: [phil@gramota.net](mailto:phil@gramota.net)

УДК 821.161.1

*В статье рассматривается фелицитарная парадигма в романе И. А. Гончарова «Обломов». Авторы выделяют ряд ключевых инвариантных оппозиций и тождеств, приобретающих в контексте произведения мифологизированный характер: счастье – покой; счастье – сон; счастье – миф; счастье-иллюзия и счастье-реальность; счастье соборное и счастье индивидуальное; счастье «бытовое» (жизненное благополучие) и счастье «бытийное» (полнота жизни) и др. Исследование обнаруживает, что рефлексивно-диалогические взаимоотношения этих инвариантов, функционирующих в качестве мифологем, определяют пути интерпретации темы счастья в художественно-философских контекстах романа.*

*Ключевые слова и фразы:* фелицитарная парадигма; миф; оппозиция; инвариант; контекст.

**Ибатуллина Гузель Мртазовна**, д. филол. н., доцент

**Старицына Юлия Александровна**, к. филол. н.

*Башкирский государственный университет (филиал) в г. Стерлитамаке*

*guzel-anna@yandex.ru; zodp24@bk.ru*

### ФЕЛИЦИТАРНЫЙ МИФ В РОМАНЕ И. А. ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ»

Фелицитарная проблематика русской литературы, в том числе и произведений И. А. Гончарова, на первый взгляд, должна бы быть обстоятельно описанной и определенным образом интерпретированной – в силу особой значимости философии счастья для понимания образа мира и человека. В действительности художественная парадигма темы счастья и в контекстах творчества Гончарова в целом, и в романе «Обломов» остается практически неисследованной, хотя опосредованный анализ мотивных или иных структур, с ней связанных, – актуальный литературоведческий ракурс для ряда работ последних лет [3; 5; 6; 8; 9].

Знаковой вехой в художественном осмыслении проблемы счастья в русской литературе стало творчество А. С. Пушкина, во многом определившее основные пути развития фелицитарного сюжета в творчестве писателей XIX–XX вв. [4]. Мысль Пушкина как художника-Протея многовекторна и подчас амбивалентно-противоречива: не знающая однозначных решений диалектика темы счастья отражена в смысловой полифонии пушкинского мира. Афористично-завершенные авторские рефлексии: «Привычка свыше нам дана: / Замена счастию она» («Евгений Онегин») [7, т. 4, с. 41]; «На свете счастья нет, но есть покой и воля...» («Пора, мой друг, пора...»), 1834 г.) [Там же, т. 2, с. 236] – диалогически перекликаются с исповедально-страстным, вновь обретенным откровением Онегина: «Я думал: вольность и покой / Замена счастию. Боже мой! / Как я ошибся, как наказан...» [Там же, т. 4, с. 153]. Эти строки, как отмечает С. Г. Бочаров, уже не раз были сопоставлены в критике: «...Та и другая истина – это аспект, относительная истина полного пушкинского мира; но в этом или другом жизненном повороте она становится для человека целостной истиной его жизни» [1, с. 160].

Обозначенная выше пушкинская амбивалентная диада «счастье» и «покой» неоднократно становится предметом диалогических рефлексий в последующей литературе. Один из репрезентативно-знаковых в этом отношении текстов – роман И. А. Гончарова «Обломов». Если в мире Пушкина диада счастье – покой реализуется как оппозиция, то в мире Гончарова, ориентированном на топос идиллии, – как тождество, и, на первый взгляд, счастье здесь равно покою. Так, например, фелицитарное сознание Ильи Ильича Обломова предполагает переживание счастья как состояния завершенности, «идеала воплощенного покоя»: «Когда же минутно являлась она [Ольга] в его воображении, там возникал и тот образ, тот идеал воплощенного покоя, счастья жизни <...> Оба образа сходились и сливались в один» [2, с. 213]. Счастье-покой наполняет и душу Ольги, охваченной любовью к Обломову: «С тех пор не было внезапных перемен в Ольге. Она была равна, покойна с теткой, в обществе, но жила и чувствовала жизнь только с Обломовым. <...> Жизнь ее наполнилась так тихо, незаметно для всех, что она жила в своей новой сфере, не возбуждая внимания, без видимых порывов и тревог» [Там же, с. 243]. Но в действительности в художественной философии Гончарова образ самого покоя (а стало быть, и тождественного ему счастья) оказывается уже не равен самому себе, приобретает семантическую неоднозначность и разные возможности интерпретации: есть покой, понимаемый как полнота жизни, достигаемая через гармоническое единство «житейского» и духовно-метафизического в бытии человека («бытийный»), и покой как житейское благополучие и удовлетворенность («бытовой»). Именно в первой своей ипостаси покой порождает состояние «живого счастья», переживаемого героями, – полнокровно-бытийного, открывающего человеку тайну его внутреннего родства и единства с миром как целым: «В чем же счастье у вас в любви, – спросил он [Обломов], – если у вас нет тех живых радостей, какие испытываю я?... – В чем? А вот в чем! – говорила она [Ольга], указывая на него, на себя, на окружавшее их уединение. – Разве это не счастье, разве я жила когда-нибудь так? Прежде я не просидела бы здесь и четверти часа одна, без книги, без музыки, между этими деревьями» [Там же, с. 252].

Однако и та, и другая инвариантная форма счастья-покоя (бытийно-живого и «бытового») обыгрывается в романе через метафору сна, то есть в результате обе стороны оппозиции отождествляются со сном. Так, например, сон становится своеобразной контекстуальной метафорой одухотворенно-эйфорического счастья влюбленных Обломова и Ольги; характерно, что жизнь и сновидение становятся здесь взаимозамещаемыми для обоих героев, даже для Ольги, не склонной, в отличие от Обломова, к онейрическим состояниям: «В снах [Ольги] тоже появилась своя жизнь: они населились какими-то видениями, образами, с которыми она иногда говорила вслух... они что-то ей рассказывают, но так неясно, что она не поймет, силится говорить

с ними, спросить, и тоже говорит что-то непонятное. <...> – Нервы! – повторит она иногда с улыбкой, сквозь слезы, едва пересиливая страх и выдерживая борьбу неокрепших нерв с пробуждавшимися силами. Она встанет с постели, выпьет стакан воды, откроет окно, помашет себе в лицо платком и отрезвится от *грез наяву и во сне*» [Там же, с. 244]. Фелицитарные переживания Обломова и Ольги приобретают внутренне амбивалентный характер, одновременно и уподобляясь сновидению, и растождествляясь с ним, и обусловлено это тем, что герои испытывают именно «живое счастье», а значит – лишённое завершенности, становящееся состоянием, не дающее возможности исчерпывающих однозначных определений.

В дальнейшем, уже в ином смысловом инварианте, сон оказывается метафорой семейного благополучия Ольги и Штольца, где мы обнаруживаем уже не амбивалентность «живого счастья», а двойственность «бытового» счастья-покоя; если в любви к Обломову даже сны Ольги наполнялись жизнью, то здесь полнота жизни подменяется оцепенением сна: «Она испытывала счастье и не могла определить, где границы, что оно такое. Она думала, отчего ей так тихо, мирно, ненарушимо-хорошо, отчего ей покойно...» [Там же, с. 435]; она «все сидела, точно спала – так тих был сон ее счастья» [Там же, с. 436]; «...ее смущала эта тишина жизни, ее остановка на минутах счастья... Но как она ни старалась сбрызнуть с души эти мгновенья периодического оценивания, сна души... настанет... смущение, боязнь, томление, какая-то глухая грусть...» [Там же]. Мы привели здесь лишь некоторые характерные цитаты, однако анализ текста произведения в целом обнаруживает, что в художественной парадигме романа диада счастье – покой существует в двух инвариантах, вступающих в отношения оппозиции и порождающих новый смысловой инвариант-тождество: счастье – сон.

Апофеозом диалогических взаимоотражений этих инвариантов становится в произведении «Сон Обломова» – своеобразное воспоминание о «золотом веке» человечества, когда счастье индивидуальное определялось не столько социальной, сколько сакрально-метафизической вовлеченностью каждого в счастье всеобщее, патриархально-родовое, когда дистанции между житейски-бытовым и бытийным не существовало. Доминантный смысл для людей здесь приобретают не индивидуальные события, а те, которые способствуют продолжению Семьи в ее экзистенциально-мифологическом понимании, – рождения, похороны, свадьбы. Даже личное счастье новобрачных здесь – это возможность через архетипический сакральный ритуал подтвердить вечность Рода и приобщиться к счастью Рода. «Счастливые люди жили, думая, что иначе не должно и не может быть...» [Там же, с. 108]. Возникает мифологизированная картина соборного счастья обитателей буколического мира Обломовки – «мирных поселян», растворенных в универсально-бытийных ритмах. С одной стороны, это действительно похоже на сновидение, но вместе с тем обломовцы живут творчески яркой, глубоко погруженной в ритуал и миф жизнью с чувством сопричастности к природно-космическим и духовно-сакральным циклам (посев, сбор урожая, церковный год), жизнью, пронизанной поэзией, музыкой, чувством красоты и гармонии всего сущего.

Фелицитарные контексты «Обломова» объемны и многополярны и не могут быть исчерпывающим образом описаны в рамках данной работы; отметим, однако, еще некоторые существенные моменты. Так, в отличие от обитателей «золотого века», живущих в коллективных фелицитарных матрицах, у каждого героя романа имеется свой фелицитарный миф, и счастье мыслится героем как возможность оставаться в границах этого мифа, как возможность окончательно инкарнировать его в реальности, всякая же демифологизация индивидуального образа счастья воспринимается как его разрушение. Характерно, например, что фелицитарное сознание Штольца предполагает переживание счастья как состояния завершенности, итоговой мифологической замкнутости судьбы: «“Дождался! Столько лет жажды чувства, терпения, экономии сил души! Как долго я ждал – всё награждено: вот оно, последнее счастье человека!”. Всё теперь заслонилось в его глазах счастьем...» [Там же, с. 435]. Следует отметить, что степень мифологизированности фелицитарного сознания у персонажей романа разная, и Ольга гораздо меньше погружена в миф, чем Штолец или Обломов, именно поэтому смущает ее «тишина жизни, ее остановка на минутах счастья...» [Там же, с. 436]. В системе авторского сознания эти мифы не случайно оцениваются через онейрические метафоры: миры индивидуальных мифов-сновидений – это миры «грез» и «иллюзий», которые не могут быть полноценно воплощены в жизнь и не могут пересечься в тотальной реальности общего фелицитарного мифа: для современного человека его уже не существует, так как не существует породившее этот миф патриархальное сознание с коллективными идеалами и ценностями. По-видимому, именно это – а не только элементы внутренней «обломовщины» – является изначальной экзистенциальной причиной невозможности индивидуального счастья для Обломова: в глубинах его сознания и души счастье мыслимо лишь как всеобщее, соборное фелицитарное переживание, всякое же индивидуальное счастье в любом случае, даже если речь идет о соединении с любимой женщиной, оказывается «осколочным», «обрывочным» состоянием, лишённым совершенной полноты. Глубинные потребности и высшие ценностные ориентации Ильи Ильича Обломова определяются не столько жаждой личного счастья, сколько внутренним неосознанным стремлением к объективации и реализации фелицитарного мифа «золотого века» с его соборным сознанием и миропереживанием; он может быть счастливым либо «всем миром», либо никак. Личность Обломова по сути становится в изображении Гончарова выражением глубинных общенациональных фелицитарных матриц и кодов, тех мифов и «грез», в которые погружено «коллективное бессознательное» русской души.

В отличие от Обломова, не в коллективных, а в индивидуально мифологизированных матрицах-иллюзиях счастья пребывает даже не имеющий иллюзий Штолец: после объяснения с Ольгой он «в задумчивом чаду счастья шёл домой, не замечая дороги, улиц...» (*курсив наш – И. Г., С. Ю.*) [Там же, с. 435]. Во власти иллюзии оказывается и как будто обретающая счастье Ольга, ставшая невестой Штольца: «Греза счастья распротёрла широкие крылья и плыла медленно, как облако в небе, над её головой...» [Там же, с. 436]. Вместе

с тем, если не убояться игры слов, можно сказать, что для главного героя произведения – Обломова – фелицитарный миф в финале реализовался не как иллюзия счастья, но как счастье иллюзий-сновидений. Несмотря на очевидный характер этого счастья как бытового комфорта-покоя, как новой Обломовки, воссозданной Агафьей Пшеницыной, оно парадоксальным образом приобретает не столько «житейский», сколько метафизический характер, так как для Обломова здесь важна не комфортная ситуация сама по себе, а возможность оставаться в рамках экзистенциально значимого для него мифа: так, в одной из заключительных глав ему «*грезится* <...> что он достиг той обетованной земли, где текут реки мёду и молока, <...> где ходят в золоте и серебре» [Там же, с. 493]. Таким образом, используемые Гончаровым онейрические метафоры приобретают в художественном мире романа особые смыслопорождающие функции: сновидение (а также «греза», «иллюзия» как его инварианты) – это форма инкарнации индивидуально-личностного мифа, в том числе и фелицитарного, в реальности современной цивилизации, где мифологизированное бытие личности и мифологизированное идиллическое счастье становятся практически невозможными.

Если подобные мифологизированные бытийные и фелицитарные модели и возникают, они в контексте художественной логики гончаровского романа оказываются неустойчивыми и временными. Полномасштабная, вне-иллюзий, реализация этих моделей возможна лишь за счет их замкнутости и даже изолированности от пространства-времени «большой цивилизации» (что характерно и для хронотопа идиллии как жанровой формы); однако именно эта замкнутость, с другой стороны, становится причиной и их неизбежного разрушения. Идиллии Обломовки грозит быть разрушенной «железными дорогами» стремительно наступающего «железного века», рядом с которым век «золотой» превращается лишь в сновидение-миф, – и этим процессам можно дать рационально-логические объяснения. Но вместе со смертью Обломова гибнет также идиллическое счастье, воссозданное Агафьей Пшеницыной в замкнутом пространстве ее быта-бытия, и это разрушение уже не объясняется конкретными социально-историческими или нравственно-психологическими причинами. Единственно возможная здесь логика – логика неустойчивости замкнутых в пространстве-времени миров, даже в своем роде совершенных и завершенных, и логика эта обусловлена фундаментальными законами бытия, а не просто временными условиями.

Еще один парадокс в том, что из всех героев романа только Агафьей счастье было обретено в реальной, а не иллюзорно-онейрической форме: «Агафья Матвеевна была в зените своей жизни, она жила и чувствовала, что жила полно, как прежде никогда не жила, но только высказать этого, как и прежде, никогда не могла, или, лучше, ей в голову об этом не приходило. <...> Зато лицо ее постоянно высказывало *одно и то же счастье, полное, удовлетворенное и без желаний*, следовательно редкое и при всякой другой натуре невозможное» [Там же, с. 485]. Вспомним, получивший согласие Ольги Штольц сначала также уверен в абсолютной законченности своего счастья: «Ольга – моя жена! – страстно вздрогнув, прошептал он. – Всё найдено, *нечего искать, некуда идти больше!*» [Там же, с. 434-435]; но следующая затем авторская реплика, уже цитированная нами выше, имеет диалогически-остраняющий характер и определяет переживание героя как субъективно-иллюзорный миф: «И в *задумчивом чаду счастья* шёл домой, не замечая дороги, улиц...» [Там же, с. 435]. На первый взгляд, уверен в завершенности своих фелицитарных грез и Обломов, нашедший желанный покой в идиллическом мире Пшеницыной: «Вглядываясь, вдумываясь в свой быт и все более и более обживаясь в нем, он наконец решил, что *ему некуда больше идти, нечего искать*, что идеал его жизни осуществился, хотя без поэзии, без тех лучей, которыми некогда воображение рисовало ему...» [Там же, с. 486-487]. Однако, как уже было сказано выше, и в контексте авторского сознания, и самим героем его внутреннее состояние оценивается как временная иллюзия-сновидение, легко разрушаемое из глубин его собственного существа пробуждающейся жаждой «живого счастья»: «А если закипит еще у него воображение, восстанут забытые воспоминания, неисполненные мечты, если в совести зашевелиятся упреки за прожитую так, а не иначе жизнь – он *спит непокойно, просыпается*, вскакивает с постели, иногда плачет холодными слезами безнадежности по светлом, навсегда угаснувшем идеале жизни, как плачут по дорогом усопшем, с горьким чувством сознания, что не довольно сделали для него при жизни» [Там же, с. 487].

Вместе с тем, именно реальное, объективно-завершенное в своей полноте счастье Агафьи претерпевает подлинную катастрофу, инициируя ее тем самым к кардинальным духовно-личностным метаморфозам. Подобные же процессы предстоит, видимо, пережить и обломовцам, также пребывающим в рамках завершеннореализованного фелицитарного мифа. Онейрическое же счастье, переживаемое Обломовым, Штольцем, Ольгой, лишено реальности, и потому оно не может быть разрушено, но поэтому оно и не дает возможности подлинного преобразования души. Однако и здесь художественная мысль Гончарова диалектична и неоднозначна: иллюзорность («не-состоятельность» = «не-состоявшийся») индивидуальных фелицитарных мифов каждого из трех главных героев романа, осознаваемая ими самими, – знак незавершенности личности и судьбы, их становящегося характера, размыкающего рамки статично погруженного в достигнутое счастье бытия.

Таким образом, контурно очерчивая общую логику фелицитарной парадигмы романа И. А. Гончарова, мы можем сказать, что она реализована рядом инвариантных образно-смысловых оппозиций и тождеств, приобретающих в контексте произведения мифологизированный характер и вступающих в отношения рефлексивно-диалогических взаимоотражений: счастье – покой; счастье – сон; счастье – миф; счастье-иллюзия и счастье-реальность; счастье соборное и счастье индивидуальное; счастье «бытовое» (жизненное благополучие) и счастье «бытийное» (полнота жизни); значимы также в данном контексте образно-смысловые диады, связанные с представлениями о рациональности – иррациональности счастья, его достижимости – недостижимости и др. В рамках небольшой статьи полномасштабно описать фелицитарный текст гончаровского романа, естественно, невозможно. Более обстоятельный анализ феноменологии счастья, реализованной в художественном мире произведения, остается перспективой дальнейших исследований.

## Список источников

1. Бочаров С. Г. «Свобода» и «счастье» в поэзии Пушкина // Проблемы поэтики и истории литературы: сборник статей. Саранск: Изд-во Мордовского гос. университета им. Н. П. Огарева, 1973. С. 147-163.
2. Гончаров И. А. Собрание сочинений: в 8-ми т. / подгот. текста и примеч. А. П. Рыбасова. М.: Художественная литература, 1953. Т. 4. 518 с.
3. Ермолаева Н. Л. Эпическое мышление И. А. Гончарова: дисс. ... д. филол. н. Иваново, 2011. 360 с.
4. Ибатуллина Г. М. «А счастье было так возможно...»: фелицитарная тема и ее интерпретации в русской литературе // Кормановские чтения: статьи и материалы / ред. Д. И. Черашняя. Ижевск: Удмуртский университет, 2014. Вып. 13. С. 69-75.
5. Иванникова Н. Д. Типология «жизненных миров» в романе И. А. Гончарова «Обломов»: дисс. ... к. филол. н. Елец, 2002. 154 с.
6. Ляпушкина Е. И. Русская идиллия XIX века и роман И. А. Гончарова «Обломов». СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т, 1996. 148 с.
7. Пушкин А. С. Собрание сочинений: в 10-ти т. / под наблюд. М. П. Еремина. М.: Правда, 1981.
8. Сергеева Ю. А. Парадигма «обрыва» в романистике И. А. Гончарова: дисс. ... к. филол. н. Самара, 2006. 175 с.
9. Смирнов К. В. Вечная тема в романе И. А. Гончарова «Обломов» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 4 (58): в 3-х ч. Ч. 2. С. 44-47.

## FELICITY MYTH IN THE NOVEL BY I. A. GONCHAROV "OBLOMOV"

Ibatullina Guzel' Mrtazovna, Doctor in Philology, Associate Professor

Staritsyna Yuliya Aleksandrovna, Ph. D. in Philology

Bashkir State University (Branch) in Sterlitamak

guzel-anna@yandex.ru; zodp24@bk.ru

The article examines felicity paradigm in the novel by I. A. Goncharov "Oblomov". The authors identify key invariant oppositions and identities which acquire mythologized nature in the context of literary work: felicity – peace; felicity – dream; felicity – myth; felicity – illusion and felicity – reality; universal felicity and individual felicity; "everyday" felicity (well-being) and "existential" felicity (abundant life), etc. The analysis indicates that reflective-dialogic inter-reflections of these invariants functioning as mythologems determine the interpretations of felicity theme in the artistic and philosophical contexts of the novel.

*Key words and phrases:* felicity paradigm; myth; opposition; invariant; context.

УДК 8; 82-1

*Статья посвящена исследованию тематики поэм Е. А. Баратынского. Баратынский – один из самых крупных и самых глубоких поэтов своего поколения после Пушкина. В своих поэмах Баратынский пытался выяснить, какую роль играют творчество, любовь и дружба в его судьбе и судьбе человечества в целом. Изучая произведения Баратынского, мы пришли к выводу, что в них поэт, в отличие от предшественников, сочетает в одном характере, казалось бы, несовместимые черты: добро и зло, красоту и безобразие, а также открывает необыкновенное в простом. Кроме того, он отказывается от героя с таинственным прошлым, которому сочувствует автор.*

*Ключевые слова и фразы:* романтическая поэма; Баратынский; Пушкин; философская лирика; романтизм.

**Омарова Екатерина Андреевна**

Дагестанский государственный университет, г. Махачкала

Katia.omarova@yandex.ru

## ТЕМАТИКА ПОЭМ Е. А. БАРАТЫНСКОГО

Евгений Абрамович Баратынский является одним из наиболее крупных и наиболее глубоких поэтов своего времени (вслед за Пушкиным), которые пришли в литературный мир после Жуковского и Батюшкова. В творчестве поэта большое место занимают элегии и поэмы. При жизни он не был избалован ни вниманием читателей, ни вниманием критиков. Только небольшое количество настоящих знатоков поэзии внимательно вникали в его лирические произведения и ценили их. Наиболее значительная и проницательная характеристика творчества Баратынского принадлежит его друзьям и почитателям его творчества. Очень точно о поэте выразился Пушкин: «Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко» [5, с. 185].

Свои мысли и чувства, для которых источником являлись гражданская жизнь и философские настроения, Баратынский связывал с личным самопознанием, самоопределением и самоосуществлением. Какие бы темы не затрагивал поэт, он всегда стремился выяснить, какую роль любовь, дружба, творчество, общественный климат и взятое в целом бытие играют в собственной судьбе, а посредством нее в судьбе современных ему людей и человечества в целом.